

*Вера Галактионова,*  
*прозаик, публицист*  
*(г. Москва)*

Ноябрьский день отпевания не был предзимним — он был похож на холодный апрельский: пасмурный, без снега. И все было исполнено сдержанного достоинства — сама заупокойная негромкая служба в церкви Николая Чудотворца у достойного, строгого гроба. Сдержанные достойные люди не суетились, не любопытствовали — прощались в молчании. И вот крышкой гроба закрылось ото всех то, что зябло, допрашивалось, недоело, болело. Запечатались его пронизывающие иркутские, норильские, пермские ветра и поплыли с ним, в последней затворенной тьме, по медлительной слякотной Москве к деревенскому кладбищу, на покой.

Точка смерти человека троична — душа уходит к Богу, тело возвращается в материнское лоно земли, но здесь, меж небом и землей, остаются дела — в сиротливой отныне самостоятельности. Дела начинают жить отдельно от того, кто их совершил, выстроил, выстрадал. И вот стоят в кабинете Леонида Бородина, вокруг его редакторского стола, ставшего поминальным, Валентин Распутин и Владимир Крупин, перенявший «Москву» от Михаила Алексева и точно определивший когда-то, кому журнал передать под руководство. Стоят сотрудники Леонида Ивановича и авторы журнала. Непревзойденные в литературе — и рядовые. И у всех у нас «...нет второй, запасной Родины».

Борьба против русизма. Эта вражья напасть истощила возможности русской литературы до предела, как и укоротила изрядно, извела саму творческую судьбу писателя Леонида Бородина — мыслителя и редактора.

Прозаики не любят оглашать то, что еще не легло на бумагу. Произведения вызревают в закрытости от людей, в тайном обдумывании, в скупом накоплении подходящих эпизодов и сцен, подброшенных жиз-

нью. Но подорванными силами поднять все увиденное и осмысленное бывает и сложно, и поздно... Он понимал, вероятно, в последние три года, что облечь в образы, в сюжеты не удастся слишком многое из пережитого. И уже сбрасывал это недоовоплощенное в прозе знание — в мир, в подробных беседах, чтобы не пропало оно бесследно, не растворилось в полной немоте, был ли это частный разговор о провокационности или стихийности создания тайных организаций — или о Бердяеве с проекцией на будущее России. Кто по какому «делу» шел, чем северные зоны отличались от дальневосточных — или когда именно появился «Прибой», когда — сигареты «Прима»: точность в деталях для прозы, затрагивающей разные временные пласты, — дело наиважнейшее... Он уже сбрасывал накопленные знания.

Это было последнее его лето. Сквозь немислимую жару и ватную духоту он откликнулся голосом, едва слышным по телефону, — совершенно разбитым, больным, слабым: «Приходите. Завтра — буду». И говорил на другой день щедро, безоглядно, под дрянной растворимый кофе, в дыму крепчайших простонародных сигарет, с достоинством аристократа. И мне тогда стало до горечи жаль того, что израсходовано все это великолепие знания не на вечность, и что никогда уж оно не будет воспроизведено в точности: «Надо было включать диктофон»... Это сожаление обдумывалось им недолго: «А-а... Под запись все не так!»

Нас оперативно сфотографировал тогда несколько раз переводчик на корейский, юноша вежливый, почти безмолвный. И эти летние снимки теперь у меня, а больше от той встречи — ничего. Кроме редкостного знания, добытого не мною. Ценой не моей, а иной судьбы, переломанной изрядно...

Но слава политического страдальца, в которую облекали перестройщики имена А. Сахарова и А. Солженицына, Леониду Ивановичу Бородину была словно неудобна и досадна: «Знал, на что

шел. Так и должно было быть»... На съемках телевизионной передачи «Линия жизни» он мрачнел от пафоса публики, пока не пресек в конце концов попытки говорить с ним как с героем из советских застенков, посвятившим борьбе против тоталитарного режима всего себя, с юных лет. Сказал, отмахнувшись: «Я был Леха с гитарой...» Он сбрасывал с себя славу.

И 24 ноября, в четверг, под вечер, он сбросил с себя жизнь.

Да, наверно, он ушел налегке — туда, откуда нет возврата. Некому больше читать так углубленно и внимательно то, что написано каким-то там более молодым автором, перебирающим тяжелейшие перепутья страны. Но был человек, знавший, что почем на этом свете, и судивший о написанном не по возрасту или полу, не по статусу литератора. А по текстам...

Мерилом всего в его кабинете был текст! И неприкосновенность авторского текста соблюдалась Леонидом Ивановичем Бородиным свято. Уважение к написанному не собою было здесь чрезвычайно велико... Со всюю ответственностью свидетельствую: ни «Большой крест» — о голоде в Поволжье, сплошняком написанный на говоре, ни «5/4 накануне тишины» с иной графикой романа и совсем иным, чем у либералов, толкованием лагерной темы, не были бы напечатаны никем иным! Любой другой главный редактор любого московского журнала нашей поры не то чтобы опубликовать в ближайших же номерах, вне очереди, а и просто прочесть все это, как следует, не удосужился бы. Ухмылку превосходства со своего благополучного лица — и то не соизволил бы стереть... А сколько таких авторов «опасных текстов» поднял буквально с литературного дна единственно — Бородин за годы своего руководства журналом?

«Москва» стягивала воедино трагедии и чаяния низовой России — непризнанной, репрессированной, перечеркнутой официально, разбитой по верованиям, по убеждениям, по сословиям, приговоренным к исчезновению. Достоверные литературные образы изгоев XX века входили в нашу отечественную литературу — со страниц «Москвы»!

Журнал Бородина вознес к жизни обреченное на немое небытие, придушенное, расформированное наше национальное единство — и запечатлел: «Мы — есть! Мы — вместе»... И уже в нашем отставании того, что возводил Бородин, в нашей дальнейшей поддержке каждого, кто шел с ним,

кто открыт был им и утвержден в литературе, сосредоточено сегодня продление его живого пути.

Вечная ему память. И вечное благодарение.

*Ирина Калус,*

*доктор филологических наук,*

*критик, главный редактор журнала*

*«Парус» (г. Ржев)*

В повести «Правила игры» Леонид Бородин совершает невозможное: он показывает выход из безвыходной ситуации. Неимоверно жесткая, корежащая душу игра, навязываемая Юрию Плотникову, проходит мимо него по касательной. Герой меняет траекторию своей судьбы, а читателю становится ясно, что колоссальная внутренняя сила, которой обладает этот человек, позволяет ему жить с ощущением внутренней свободы и делать выбор даже в тюрьме. Ограничения в пространственных перемещениях, в выборе рода занятий, комфорте равным счетом ничего не значат, если в это время совершается огромная внутренняя работа разума, души и духа, позволяющая человеку осознавать свое место в мире. И пути такого человека будут всегда «горными» нелегкими, тернистыми, но полностью соответствующими его лучшим представлениям о том, где и как он должен быть. Ошибки здесь исключаются напрочь: чуждые потоки не могут соединяться, как масло с водой. Главным для Юрия Плотникова, пусть и в заключении, было, несмотря на «радиофон» и прочее «бормотание» «доброжелателей», держать в голове свою цель и помнить о ней.

Момент осознания истины по времени может быть очень коротким, вспыхивая в череде дней «ничем не обычных» и «серых». Но этот момент не дает права на жизнь в старой колее. К такому знанию приходит и Семина: «А я не имею права жить, как все». И вот один день, попавший в поле зрения автора «Правил игры», вызывает вполне закономерные ассоциации с рассказом А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Оба писателя, основываясь на личном опыте, воссоздают события крохотного «атома времени», и обычного, и неординарного для каждого по-своему. В бытописании есть много общих мест: это тяжелые физические условия (холод, вечный недостаток сна, работа на износ), не менее тяжелые моральные условия, а также проблемы вроде «успеть занять хорошее место около умывальника». Но уникальность «одного дня» Леонид Бородин выводит из духовного прозре-

ния Юрия Плотникова, а Александр Солженицын — из 30-градусного мороза (подтверждая потом в телеинтервью, что такое действительно было единожды).

Оба героя, Плотников и Шухов, — «из работяг», так себе, «средненькие» в иерархии эзков, хотя и уважаемые; оба испытывают нравственный гнет в плане отношений с надзирателями. Однако же Юрий Плотников вызывает гораздо больше симпатий, чем Иван Денисович. По рассуждениям Шухова, вовсе не лентяя и не любителя «легких денег», «работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для начальника делаешь — дай показуху». В Плотникове «максимум поведения» сочетается с видением в каждом «ни ээка, ни мента» — человека, у которого есть душа и чувства, родные и любимые люди, своя жизненная трагедия. Плотникова мучает вопрос о том, что чувствует надзиратель, расставаясь со вчерашним узником; толкнув Мышку ногой, Юрий извиняется перед ним, «недостойным». Все они для Плотникова несчастные, и это говорит о способности героя к сопереживанию любому человеку, кем бы он ни был. Шухов, при жалости своей к другим, сам не прочь толкнуть кого-нибудь, вроде Фетюкова: «И все равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной — по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать»; отнять поднос у того, кто «щуплее»; намочить валенки надзирателям, лихо вымыть полы так, чтобы больше не попросили: «Шухов протер доски пола, чтоб пятен сухих не оставалось, тряпку невыжатую бросил за печку, (...) выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство». Иван Денисович принял правило «они — тебя, ты — их», «иначе б давно все подошли, дело известное» — хотя Шухову, как Юрию Плотникову, «старым лагерным волком», бригадиром Куземиным были даны сокровенные слова: «Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут», был явлен воочию живой пример Ю-81, а после бесед с баптистом-Алешкою «Ш-854» имел суждение: «где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо». Солженицын точно передает живую манеру умелого рассказчика, которая позволяет понять внутренний мир героя, располагающийся, впрочем, основной своей массой в области физиологии. По-человечески жалко становится Ивана Денисовича, поскольку радости все и впечатления его носят событийный характер, а удачи связаны с тем, чтобы «косануть» или «подработать». Детали, наиболее тщательно выписанные в рассказе, — это «хвостик сигареты», «рыбий хребтик», «ломтик колбасы», ботинки, ложка и т. п.

Жизнь внутренняя во многом из-за тяжелых усло-

вий существования, особенно лагерных, для заключенных часто по их же собственной инициативе сводилась к минимуму. Это явление, опираясь на повесть Леонида Бородина, можно назвать «радиофоном», в «Правилах игры» занимающим беспорядочное блуждание мысли. Псевдоработа мозга превращает жизнь в тупое кружение без выхода за привычные радиусы годовых колец, позволяет жить без напряжения.

Внешне «Один день Ивана Денисовича» заканчивается более оптимистически, чем «Правила игры»: «Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый». Но такая «веселая» концовка дня, в котором жил Шухов, вызывает ощущение безысходности. Два произведения о жизни в заключении показывают, как трудно быть собой и как эта задача облегчается при постановке цели лишь физического выживания: перед нами Юрий Плотников, превративший себя в причину происходящего, и Шухов, по сути незлой и работающий, превратившийся в «цезаря» при Цезаре Марковиче.

*Олег Селедцов,*  
*член Союза писателей России,*  
*заслуженный работник культуры*  
*Республики Адыгея*  
*(г. Краснодар)*

Леонид Иванович Бородин — особое имя в моей судьбе. Мне выпала великая честь учиться у него. Он вел мастер-класс журнала «Москва» на самом первом форуме молодых писателей России в «Липках», в 2001 году. Помнится, тогда я был немного расстроен, что отменили семинар журнала «Наш современник», куда первоначально я был записан, и без особого восторга дал согласие посещать мастер-класс «Москвы». В числе семинаристов со мной были Алеша Шорохов (Москва), Дима Ермаков (Вологда), Коля Вяткин (Иркутск), Василина Орлова (Москва), Максим Свириденков (Смоленск). Имена эти еще ничего не значили в большой литературе. Еще только делали первые шаги в писательство Сережа Шаргунов и Захар Прилепин, Денис Гуцко и Женечка Изварина, Саша Пряжников и Саша Карасев, Рома Сенчин и Аня Мамаенко.

И вот начались занятия. На семинар «Москвы» записалось человек двенадцать. После первого занятия двое или трое из нашей группы перебежали на мастер-классы «Новый мир» и «Знамени». Во второй день ушло еще двое. На третий день нас снова стало

двенадцать, словно апостолов у Великого Учителя. Это заинтригованные нашими рассказами о Бородине к нам потянулись жаждающие и алчущие правды. На четвертый день семинара «липкинская» рекреация, в которой проходили занятия, была переполнена юными дарованиями. Люди шли и шли. А он (наш учитель) просто рассказывал. Негромко, без надрыва. «О царице» смут Марине Мнишек, о трагедии декабристов, о юном Мише Романове, находившемся в Московском кремле во время осады Москвы русским народным ополчением. Рассказывал Бородин о себе и своих современниках. Причем не всегда лицеприятные вещи. Ну вот пример: как-то слово взял Николай Вяткин. Бородин при этом просматривал очередную рукопись очередного «Пушкина» или «Гоголя».

— Вот Бродский — гений, — изрек Николай.

— Что?! — не поднимая головы от рукописи, вопрошал Леонид Иванович.

— Ну хорошо, — поправился Вяткин, — предположим, что Бродский — гений...

— Уже лучше, но все равно — плохо. А знаете ли вы, чем занимался Бродский в узилище? Усиленно учил английский язык и рисовал на стене камеры замок, в котором будет жить ТАМ...

— Откуда вы знаете?

— Да уж знаю.

И это была правда. Он действительно знал об узилищах не понаслышке. Дважды Бородин проходил через ад политических казематов. Рассказывал он и об этих страницах своей судьбушки. Рассказывал, как наивным юным романтиком состоял во «Всероссийском социал-христианском союзе освобождения народа». Как планировали они с товарищами абсолютно утопическую акцию. Только представьте себе. На деньги, заработанные в стройотряде, они хотели купить старенький «горбатый Запорожец», три акваланга и у «черных копателей» пару немецких автоматов. Среди бела дня, в аквалангах, они должны были выехать к «Большому дому» — зданию КГБ в Ленинграде, расстрелять из автоматов верхние этажи, чтобы, не дай Бог, никого не ранить, и на полной скорости бросить свой «Запор» в Неву. И по дну Невы уйти от преследования «гебистов». Наивный и глупый план. Среди них, естественно, нашелся предатель. Как итог — шесть лет заключения, что называется «от звонка, до звонка». Его предавали. И не раз. Сам он — никогда! Просто несовместимы понятия чести, достоинства, русской совести, воплощением которых был Бородин, и предательства, доносительства, корысти, коих, к несчастью,

предостаточно в нашей жизни. Не предал Леонид Иванович и диссидента Гинзбурга, хотя «особые» товарищи ставили это условием реабилитации «оступившегося» советского парня. Не предал, что бесспорно послужило одним из оснований для нового ареста.

Говорил он этом без всякой бравлады, как о чем-то совершенно обыденном, словно пересказывал разговор только что подслушанный им в метро. И в этой обыденности, в этом обычном жизненном подвиге виделось нам явно величие непокоренного русского человека с иркутскими и литовскими корнями.

Мы все буквально влюбились в СВОЕГО Бородина. Да что мы! Я знаю, что Леонида Ивановича ненавидели, боялись, но бесконечно УВАЖАЛИ даже самые прожженные либераствующие недруги. Боялись, но уважали! Словно знали, что, не дай Бог, протрубит над Россией ангел скорбный сигнал тревоги, и этот суховатый на вид, несломленный казематами, предательством, доносами и временем человек первым поднимется из окопа, увлекая за собой в атаку всех, кто еще не продал остатки своей совести фарисействующим хозяевам этой планеты.

Тогда в Липках я посвятил Леониду Ивановичу такие стихи:

## РЯДОВОЙ

*Леониду Ивановичу Бородину*

*Смешной морщинистый старик,  
Прошедший... Досыта хлебнувший...  
Сквозь строй деревьев и дворов  
Бредет один на суд стихии.  
Не удостоен, не достиг  
В кровавой пляске войн минувших  
Медалей, званий, орденов.  
Он — рядовой солдат России.*

*Но если запоет набат,  
Стволы потянутся к вискам  
Его предавших друзей,  
Его врагов орденосных,  
То старый, верный автомат  
Обнимет твердая рука,  
И кровью чистой своей  
Он русские окрасит росы.*

Леонид Иванович Бородин — особое имя в моей судьбе. ■